### XI. Страх

### Уильям Сомерсет Моэм

Путешествуя, я остановился у него на ночь. Миссия стояла на пологом холме у самых ворот многолюдного города. Первое, что мне бросилось в глаза, был его особый вкус. Как правило, дом миссионера обставлен с просто вызывающей пошлостью. Гостиная с ее нежилой атмосферой оклеена пестрыми обоями, а стены увешаны текстами из Святого Писания и гравюрами сентиментальных картин — «Пробуждение души» и «Доктор» Люка Филда. А еще если миссионер живет в стране уже долго, то и поздравительные свитки на плотной красной бумаге. Брюссельский ковер на полу, качалка, если хозяин американец, и жесткие кресла по сторонам камина, если он англичанин. Диван, поставленный так, что на него нельзя сесть, хотя, судя по его зловещему виду, желающие все равно вряд ли нашлись бы. На окнах кружевные занавески. Кое-где столики, а на них фотографии и безделушки из современного фарфора. У столовой вид несколько более жилой, но почти вся она занята огромным столом, и, садясь к нему, вы оказываетесь почти в камине. Однако в кабинете мистера Уингрува от пола до потолка громоздились книги, рабочий стол был завален бумагами, занавески были из плотной зеленой материи, а над камином висело тибетское знамя. На каминной доске стояли в ряд тибетские Будды.

— Не знаю почему, но возникает такое чувство, будто дышишь воздухом старинного университетского колледжа, — сказал я.

— Вы думаете? Одно время я преподавал в Ориэле, — ответил он.

На вид ему было под пятьдесят — высокий, упитанный, хотя не толстый, волосы с проседью коротко подстрижены, лицо красноватое. Казалось, перед вами добродушный человек, любитель от души посмеяться, приятный собеседник и добрый малый. Но вас смущали его глаза, неулыбчивые, почти угрюмые — для их выражения я нахожу только одно слово: затравленные. Я решил, что попал к нему в неудачный момент, когда его мысли были заняты каким-то неприятным делом, но почему-то мне казалось, что выражение это не преходящее, а постоянное, и я не мог этого понять. У него был тот тревожный вид, который сопутствует некоторым сердечным заболеваниям. Он поговорил о том о сем, а потом сказал:

— Я слышу, вернулась моя жена. Не пройти ли нам в гостиную?

Он проводил меня туда и представил миниатюрной худенькой женщине в очках с золотой оправой. Держалась она довольно неловко. Сразу бросалось в глаза, что происходит она из другого сословия, чем ее муж. По большей части миссионеры среди множества своих добродетелей не числят те, которые мы за неимением лучшего слова объединяем в понятии воспитанность. Пусть они святые, но джентльменов среди них мало. А тут я вдруг обнаружил, что мистер Уингрув — джентльмен, и все потому, что его жена не была леди. Говорила она с вульгарными интонациями. Такой обстановки, как в их гостиной, ни в одном миссионерском доме мне видеть еще не доводилось. На полу лежал китайский ковер. На желтых стенах висели китайские картины, причем старинные. Две-три черепицы эпохи Минской династии обеспечивали цветовой эффект. Посередине стоял резной стол черного дерева, а на нем — статуэтка из белого фарфора. Я произнес какую-то банальную фразу.

— Сама-то я эту китайщину не люблю, — энергично сказала хозяйка дома, — но мистер Уингрув настаивает. Будь моя воля, я бы все тут повыбрасывала.

Я засмеялся — но не потому, что мне стало смешно, — и вдруг перехватил в глазах мистера Уингрува выражение ледяной ненависти. Я удивился. Но оно тут же исчезло.

— Если они вам не нравятся, моя дорогая, то мы обойдемся без них, — сказал он мягко. — Их можно вынести в кладовую.

— Да пусть их, если вам они по вкусу.

Мы заговорили о моем путешествии, и я между прочим спросил мистера Уингрува, давно ли он был в Англии.

— Семнадцать лет назад, — ответил он.

Я удивился.

— Но мне казалось, каждые семь лет вы получаете годовой отпуск?

— Да, но я не поехал.

— Мистер Уингрув думает, что взять и уехать на год — значит повредить тутошней работе, — объяснила его жена. — Ну а я, куда же я без него поеду?

Я не понимал, каким образом он оказался в Китае. Конкретные подробности того, как человека вдруг призывает глас Божий, меня живо интересуют, и не так уж редко находятся люди, охотно об этом рассказывающие, хотя выводы свои делаешь не столько из самих слов, сколько из подтекста. Однако я не предполагал, что мистера Уингрува можно прямо или обиняком натолкнуть на столь личную исповедь. Он, очевидно, относился к своей деятельности очень серьезно.

— А другие иностранцы здесь есть?

— Нет.

— Так вам, наверное, очень одиноко, — сказал я.

— Мне, пожалуй, так больше по душе, — ответил он, глядя на одну из картин. — Это ведь могут быть только дельцы, а вы знаете, — он улыбнулся, — они не слишком жалуют миссионеров. И они не настолько интеллектуальны, чтобы считать отсутствие их общества большой потерей.

— И конечно, нам вовсе не так уж одиноко, — сказала миссис Уингрув. — У нас есть двое евангелистов. И еще две барышни, которые учат детей. Ну и сами дети.

Подали чай, и мы беседовали о том о сем. Впечатление было такое, что мистеру Уингруву было трудно говорить. Я все больше ощущал в нем подавленную тревогу. Манеры у него были приятные, и он, бесспорно, старался держаться любезно, но за всем этим пряталось усилие. Я перевел разговор на Оксфорд, упомянул моих друзей там, с которыми он мог быть знаком, однако поддержки у него не встретил.

— Я уехал так давно, — сказал он. — И ни с кем не поддерживал переписки. Подобная миссия требует многих забот и поглощает человека целиком.

Я решил, что он преувеличивает, а потому заметил:

— Ну, судя по количеству книг в вашем кабинете, какое-то время для чтения у вас все-таки остается.

— Я читаю очень редко, — ответил он отрывисто, не совсем своим голосом, как я уже понял.

Я недоумевал. В нем было что-то странное. В конце концов, как, вероятно, и следовало ожидать, он заговорил о Китае. Миссис Уингрув держалась о китайцах такого же мнения, какое мне высказывали уже столько миссионеров: они все лгуны, ненадежны, жестоки и нечистоплотны, однако на Востоке брезжит слабый свет. Хотя усилия миссионеров пока еще сколько-нибудь заметных плодов не приносят, будущее сулит надежду. Они больше не верят в своих прежних богов, и власть ученого сословия разрушена. Это была позиция недоверия и неприязни, подкрашенная оптимизмом. Но мистер Уингрув смягчил инвективы жены. Он подробно остановился на добром характере китайцев, на их почитании родителей и любви к своим детям.

— Мистер Уингрув слова дурного о китайцах слышать не желает, — сказала его жена. — Он их просто обожает.

— Я считаю, что они обладают многими благородными качествами, — ответил он. — Нельзя пройти по их кишащим людьми улицам и не убедиться в этом.

— Видно, мистер Уингрув запашков не замечает! — Его жена засмеялась.

Тут в дверь постучали, и вошла молодая женщина. На ней была длинная юбка, а ноги ее никогда не бинтовались — то есть она была христианкой с рождения. Выглядела она одновременно и заискивающей, и угрюмой. Она что-то сказала миссис Уингрув. А я случайно взглянул на мистера Уингрува. При виде ее по его лицу скользнуло выражение глубочайшей физической брезгливости, оно сморщилось, словно от тошнотворного запаха. Но выражение это тут же исчезло, и его губы сложились в приветливую улыбку. Но усилие оказалось слишком уж большим, и получилась болезненная гримаса. Я смотрел на него с изумлением. Миссис Уингрув, извинившись, встала и вышла из комнаты.

— Это одна из наших учительниц, — произнес мистер Уингрув тем же нарочитым голосом, на который я уже обратил внимание. — Ей нет цены. Я всецело на нее полагаюсь. У нее прекрасный характер.

И тут, сам не знаю почему, я отгадал правду: я увидел в его душе отвращение ко всему, что его воля требовала любить. Я испытал то жгучее волнение, какое, наверное, охватывало первопроходца, когда после трудного и опасного пути он оказывался в краях, сулящих много нового и неизведанного. Эти измученные глаза сами себя объясняли, и нарочитость голоса, и взвешенная сдержанность, с которой он хвалил, и выражение затравленности в глазах. Вопреки всему, что я от него слышал, он ненавидел китайцев ненавистью, перед которой неприязнь его жены была пустяком. Когда он проходил среди кишащих толп, для него это было смертной мукой, жизнь миссионера была ему омерзительна, его душа походила на стертые до крови плечи кули, на которые давит коромысло. Он отказывался от отпуска, потому что у него не хватало сил вновь увидеть то, что было ему так дорого; он не читал книг, потому что они напоминали ему о жизни, которую он любил так страстно; возможно, он и женился на этой вульгарной женщине, чтобы еще решительней порвать все связи с миром, по которому томился всеми фибрами. Он обрекал свою истерзанную душу на мученичество со страстным отчаянием.

Я попытался представить себе, как он услышал глас. Мне кажется, много лет он был безоблачно счастлив в Оксфорде, где жизнь отвечала его вкусу: любимая работа, приятное общество, книги, каникулярные поездки во Францию и Италию. Он был довольным человеком и желал только прожить таким образом до конца своих дней. Не знаю, какое смутное чувство мало-помалу овладевало им, внушая, что его жизнь слишком приятна, слишком полна лени. Думаю, он всегда был религиозен, и, быть может, внушенное ему в детстве, а затем забытое представление о ревнивом Боге, которому ненавистно, что его создания могут быть счастливы на земле, где-то в глубине язвило ему сердце. Думаю, он начал считать свою жизнь грешной, потому что был ею безоговорочно доволен. Его охватила тягостная тревога. Что бы ни твердил ему рассудок, его нервы трепетали от ужаса перед вечной погибелью. Не знаю, что именно внушило ему мысль о Китае, но, вероятно, сначала он ее отбросил со жгучим отвращением; или, быть может, именно сила его отвращения породила эту мысль. Думаю, он говорил себе: не поеду! Но я думаю, он чувствовал, что вынужден будет поехать. Бог гнался за ним, и, где бы он ни прятался, Бог настигал его. Рассудок в нем сопротивлялся, но сердце поймало его в капкан. Он ничего не мог с собой поделать. И в конце концов сдался.

Я знал, что больше никогда его не увижу, и у меня не было времени на банальные разговоры в ожидании, что более близкое знакомство позволит мне коснуться чего-либо более личного. И я воспользовался тем, что мы были одни.

— Как по-вашему, — сказал я, — обречет ли Бог китайцев на вечную гибель, если они не обратятся в христианство?

Не сомневаюсь, что мой вопрос был груб и нетактичен, — старик вновь неодобрительно поджал губы. И все-таки он ответил:

— Евангельское учение вынуждает прийти к этому выводу. Ни единый из доводов против, измышленных людьми, не обладает силой простых слов Иисуса Христа.